

Спасение Печонкина

I.

«Ведь только земной ограниченности свойственно мыслить метафорой и нуждаться в фиктивных рельефах, прлмерах и сравнениях»,—прочитал я однажды в примечаниях русского ученого к китайской поэме. Но профессор не прав. На земле становится все больше людей, которым противны дешовые украшения. Нам нужны реальные вещи. Мне интересен не рассказ, а материал, из которого он сделан. Я смотрю и мгновенно создаю сотни замечательных историй. Мне нужно всего лишь несколько минут для целого романа. Зачем же тратить на него год своей жизни? Я вижу будущее и нагих людей, любовно смотрящих на нетронутый кусок мрамора, потому что каждый из них мог бы найти в нем один и тот же предел человеческой красоты...

Была полночь, время, когда так хорошо работать. Я положил перо. Это было мучительно. Я писал медленно. Я хотел изобретать. Но все прекрасное трудно. Работа мне в те дни не удавалась.

В мое окно постучали. Я обрадовался, как школьник, услышавший звонок: перемена. Вошел Тимофей. Мы схватились за руки и обменялись незначительными фразами.

— Ты откуда?

— Прямо с вокзала,—созрел Тимофей.—Экспедиция застряла в Енисейске. Я приехал первый. Можно у тебя переночевать? Я не могу вернуться домой.

— Что ж, подстели оленью шкуру и ложись на пол. У меня иочуют поэты, почему бы не переночевать «моряку».

— Не смейся,—улыбнулся Тимофей.

Я увидел в нем спокойную самоуверенность, но глаза его выдавали грусть. Я не стал его расспрашивать. Мужчины не говорят друг с другом о своей любви и о своей ненависти. Ведь это все равно, что говорить о воздухе: он почти так же вездесущ. Тимофей скинул полушубок, повел плечами. Мы свернули сигареты из плохого английского табака «golden returns», добытого у матросов Карской. Тимофей достал (из внутреннего кармана кожаной куртки) пачку фотографий. И мы забыли даже любовь, вспоминая знакомые места.

— Ну, рассказывай,—сказал я.—Ты спать не хочешь?

Я долго не уезжал из города. Я ощущал себя каким-то ненастоящим, совсем не тем, каким бываешь в седле, у штурвала, за веслами. Я жадно слушал товарища. Чистый ветер севера опять коснулся меня.

Тимофей кончил.

— Что ты пишешь?—спросил он.

— Ты знаешь,—ответил я неохотно.

— Повесть?

— Зачем эти марочки под заглавием? Не знаю... Пусть их ставят издательства и редакторы, как выгоднее.

Мы поговорили на эту тему.

— Сейчас мне хочется оставить работу и написать «рассказ»... тоже «северный»... Но я сомневаюсь: стоит ли его писать?

Тимофей пододвинулся ко мне. Ему, вероятно, льстила его роль. Он спросил, стараясь не выдавать себя, но все же слишком поспешно.

— Какой же рассказ?

Меня томили мои образы и мои неудачи. Легче было говорить.

— Ну, ладно. Слушай,—сказал я.

Все это связано с нашей несчастной экспедицией на шхуне «Профессор Б. Житков», потерпевшей крушение у мыса Полярный, в Карском море. Я участвовал в экспедиции в качестве кино-оператора и этнографа, хотя (это тоже замечательно характерно) я не был ни тем, ни другим.

Шхуна была приобретена Комитетом за границей очень дешево, тысяч за 25. После ремонта и погрузки в Гамбурге и в Бергене сетей, гарпунов, гарпунных ружей, пушек и другого зверобойного снаряжения, шхуна должна была прийти в Мурманск. Мы выехали из Новосибирска в Мурманск... Ты читал мой очерк? Он был напечатан в «Прожекторе» без начала и конца, как полагается по правилам верстки иллюстрированных журналов.

— Нет, я не читал,—ответил Тимофей.

— Тогда прочитай,—сказал я, отыскав черновик очерка.—Здесь много лишнего для моей темы, но иначе пришлось бы повторяться.

II.

Веселые женщины из гостиницы «Мурманск» показали мне письмо обывателя, не поверившего своим глазам. Обыватель писал из Мурманска в Москву.

«Климат суровый, растительность грубая, природа изменчивая, все больше горы. И вот самый Мурманск, порт. Видны огни крейсеров на рейдах. Мурманск расположен среди: с трех сторон высоких скалистых гор и с одной стороны Белого моря, что и говорит за красоту вида. Народы здесь большие финны, чуваша, лопари, ирландцы и одежда вся, начиная с сапог, кончая шапки, вся из шкур зверя или оленя, лося, выдры и т. д.»

В Мурманске нет ни высоких гор, ни моря (тем более Белого), ни «народов», одетых в звериные шкуры.

Кольский залив похож на реку, текущую в зеленых и каменных берегах. Он очень похож на Енисей. По нему также свободно идут большие океанские пароходы. Но вода в заливе, дважды в сутки, течет то к югу, то к северу, в приливе и отливе—единственное напоминание о близком океане.

Никакой северной экзотики,—хотя Мурманск лежит на широте устья Енисея. Год назад, в начале августа, я бродил по зеленой губке тундры, отворачиваясь от свирепого нора-оста, и рядом со мной шли юрки, на самом деле одетые в шкуры. В Мурманске—белые платья, шелковые чулки женщин, больше шелковых чулок, чем на Невском, потому что Мурманск—город самых фантастических заработков в СССР. И кажется, что случаен, чудесен этот солнечный знойный день за полярным кругом. Склоны гор, окружающих город, покрыты кустарником, низкорослой березой. Но всюду встречаются

нии больших деревьев. По ту сторону гор, откуда невыгодно вывозить лес на топливо, растут большие сосны, такие же, как под Новосибирском.

Земля цветет в Мурманском лесу. Фиолетово-розовый вереск покрывает поляны. Ягоды—красные, оранжевые, голубоватые, черные растут по мшистым кочкам. В иных местах можно лечь на этот мягкий цветущий ковер и досыта наесться морошки, черники, голубицы. По горным тропинкам спускаются женщины и дети с ведрами и корзинами, полными грибов и ягод. Мальчики идут, сняв рубашки, загорелые, с полотенцами через плечо. Берега ближайшего озера, голубого и совершенно квадратного,—Мурманский «пляж». Здесь, в этом полярном озере, можно купаться все лето. Край полон озер. Невысокий водораздел одного из этих чистейших горных озер дал возможность использовать даровую силу для городского водопровода.

Отсюда, с озерного водораздела, виден весь Мурманск. Город горит в медленном полярном закате позолотой нового теса. Он так нов, что в нем нет ни одной церкви. В 1917 г. Мурманск увеличил жилплощадь на 13.000 кв. метров. Строятся целые кварталы. Город деревянный, но ближе к порту и станции железной дороги, у того узла, где ежегодно проходит 40.000.000 пудов груза, уже растут каркасы железобетонных зданий. У мола, за красными бусами товарных вагонов, стоят внушительные немецкие и норвежские «купцы», выпружающие из своих трюмов хлопок и рыбу. Кораблям становится тесно у мола. Днем и ночью верблюдом ревет землечерпалка, продолжая работу доисторического ледника, вырванного стоверстный канал Кольского залива. Иностранные матросы стайками бродят по песчаным улицам, разыскивая кабак и рынок. Бронзолитые хозяева стоят у входа новеньких лавчонок. Имена их написаны крупными буквами.

- Хао-Чо-Сян.
- Лю-Цзи-Цин.
- Ван-Бао-Шан.
- Чоу-Зын-Шен.

Песок. Жара. Китайцы. Неужели это полярная страна и рядом у лопарей пасутся северные олени? Вот, лопарь рядом, он, наверно, продает оленьи шкуры. Маленький человек улыбается. Он достает из кармана жестяную коробочку из-под граммофонных иголок. Жестянка полна бледных волнующих зерен.

- Это земчуг,—говорит лопарь.

За жемчужину, величиной с крупную горошину, он робко запрашивает червонец.

Перепись населения в Мурманске на 8.000 населения обнаружила 35 национальностей, в том числе одного негра из племени сомали. «Народы» приходят в Мурманск за «большими рублями». Это население Клондайка, золотых россыпей, новых жирных стран. Безработные немцы из Гамбурга, норвежцы, финны, татары, китайцы—в трюмах, в теплушках—пробираются в свое новое Эльдorado, где нет безработицы, где грузчик «выгоняет 500 монет». Большинство населения—русские—беженцы, беглецы, бродяги—наш исконный человеческий избыток, в сущности гораздо менее оседлый, чем кочевники Кольского полуострова.

- Сюда попадают те, кому не дается работа на родине.
- Всего перепробовал, махнул на Мурманку.
- Заработают, выпьют до последнего. Так оно и вертится...

Мурманск самый молодой город в СССР. Считается, что он основан в 1916 году. Он рожден войной. Это всем известное рождение сопровождалось недолгой, нотеменной историей. Антанта фактически распорядилась Мурман-

ском с первых дней революции. Вооруженными силами края управлял опереточный «Военный Совет», составленный из противоестественной смеси: англичанина, француза и представителя Мурманского совдепа! Впрочем, темное сожительство завершилось вскоре явной изменой.

— Товарищи, довольно жить с няньками!—провозгласил председатель совдепа, Юрьев, летом 1918 г. на митинге, в котором участвовало «все население города».—Мы—те же сыны родины, что и наше центральное правительство. Наша обязанность—сохранить этот край в руках русских, а не немцев.

— Мне остается повторить прекрасные слова вашего председателя,—сказал английский адмирал Кемп. (*Известия М. К. С. № 82, от 3 авг. 1918 г.*).

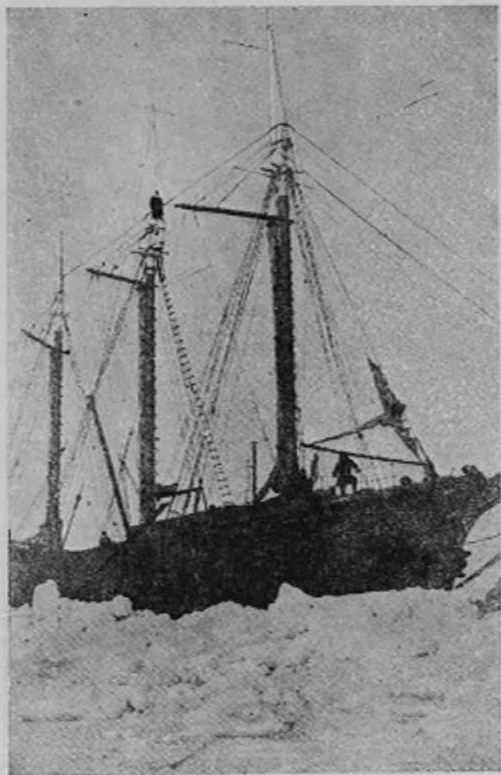
Часть железнодорожного пролетариата и матросы с крейсера «Аскольд» пробовали сопротивляться, но на этот раз победила деклассированная масса «золотоискателей». Митинг голосовал за разрыв с Москвой. Поддержали и местные, немногочисленные, обыватели, которым Кемп посулил заграничные рыболовные снасти. Союзники действительно снабжали край; но цена каждой чечевицы в этой похлебке была заранее переведена на золото. Ст. 11 «Временного, по особым обстоятельствам, соглашения представителей Великобритании, С.-А. С. Ш. и Франции» с Мурманским совдепом буквально такова:

— «Все расходы, имеющие быть произведенными Прав. Великобритания, С.-А. С. Ш. и Франции, записываются в общий счет государственного долга России соответствующим державам»...

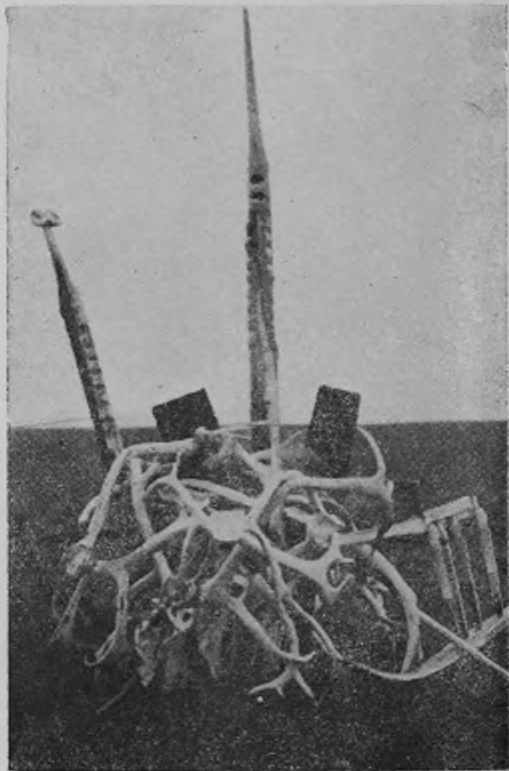
По-настоящему, Мурманск стал расти и развиваться всего лет 5 назад, целиком при советах. Он рос на глазах, как ребенок. Он растет все быстрее. В нем все крепче свое мурманское рабочее ядро. Но историческая накипь пропойц и всяческой шпаны, в сущности может быть незначительная, бьет по глазам приезжего четвертной бутылкой.

Кажется, нигде в свете нет места пьянее Мурманска. Единственная гостиница города принадлежит странному учреждению, именуемому «Желрыба». «Жел»—почти обязательная приставка на всех предприятиях края, т. е. хозяйственная жизнь регулируется Мурманской железной дорогой. Здоровая мысль—создать ряд подсобных предприятий для увеличения средств дороги—распухла от излишней ориентации на всевозможные пития. Подсобные предприятия заводят подсобные предприятия, забывая главную свою цель. Желрыба владеет в Мурманске несколькими магазинами и торгует всем, чем угодно, кроме рыбы. Говорят, Желрыба обращалась в губисполком с просьбой разрешить построить в порту публичный дом на том основании, что «иностранцы без этого не могут» и подобные учреждения существуют во всех портах мира... а главное—выгодно. Нижний этаж желрыбовской гостиницы, где маленький клопный номер стоит 5-6 р. в сутки, занят «рестораном». Днем это—приличная столовая, ночью—кабак. Эпопея поножовщины годами разыгрывается у входа. Интернациональная ругань потрясает желрыбовские стекла. Специальный вышибала, потев, спокойно выносит живые трупы и, с помощью милиционера, сваливает в мокрый ров. Там, бесчувственные, они лежат в нечеловеческих позах, иногда вниз головой, маяча в полярных сумерках, и жестокая морзянка—северный ледовитый ветер—замораживает нечистоты на их непролитых еще рубашках.

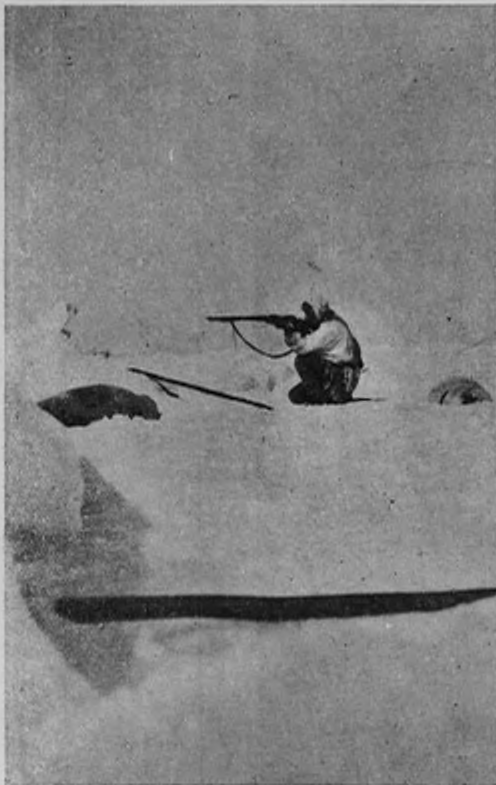
Ежедневные даровые представления часто оканчиваются отнюдь не театрально (или—сверхтеатрально). Пьяный конторщик сжег дом и двух своих детей вместе с домом. В ветреную погоду здесь мог бы сгореть порядочный угол города. Пьяный агент начал палить на площади, тяжело ранил рабочего, и население желрыбовского «ресторана» вопило, грозя моей новой



ЛЕДОРЫБИТЕЛЬНАЯ ШХУНА «ПРОФЕССОР Б. ЖИТКОВ»



«ГИБИДЕЯ».—МОЛЬВИЩЕ ЮРАКОВ



НА ТЮЛЕНЬЕМ ПРОМЫСЛЕ В БЕЛОМ МОРЕ



НА ПЕСКАХ ОБИ

кожаной куртке из ЛСПО: «Наших быют» и «Мы вам покажем террор»... Раненый лежал в песке и медленно истекал кровью, дожидаясь «скорой помощи». Рядом, на шпалах хитроумного мурманского трамвайчика, развозящего по городу строительные материалы, сидел пьяный старикашка, мокрый, как тюлень. Старикашка проповедывал на тему, что «правды нет». Главная же кровная обида, оказалось, была вовсе не в пролитой крови, а в том, что вот Желрыба продает водку начальству сколько хочешь и начальство напивается быстро, а пролетариату продают пиво, которым напьюсь не сразу...

В Мурманске четыре кинематографа, три рабочих клуба, случается, приезжает хорошая ленинградская труппа. В культурном отношении Мурманск скорее выше, чем ниже любого провинциального русского города. Партийная и профессиональная работа сильна. Интеллигенция, сравнительно, многочисленна и активна. Мурманское Краеведческое Общество издает свои труды. В здании Мурманского губисполкома выходят работы Мурманской биологической станции. Ни один город с 8-ю тысячным населением не сможет похвастаться подобными достижениями. Культурная отсталость в данном случае не при чем. Мурманское рабочее население делится резко на две части, и одна из них требует не только культурнических мер. Безымянный автор из мурманского рукописного журнала «Местный Транспортник» (№ 1) эпически перечисляет транспортные клубные занятия...

«Шашек партию стянули
Из читальни вечером.
Поиграли, посмотрели
И пошли домой тайком.
В шахматной окно разбили,
Раму вынули совсем.
Ничего хоть и не взяли,
А жары нагнали всем».

Рабочая колонна проводит митинг на «Площади Свободы». И траурные ряды, не замечая, спокойно шагают через колоды упившихся, чтобы отдать последний долг Сакко и Ванцетти. Привычка.

Борьба здесь нужна гораздо более решительная. Здесь временно нужны туруханские законы, хотя, вместе с Мурманским губисполкомом, я убежден, что болезнь постепенно проходит сама. Русское беспризорное, бесшабашное население тяготеет к оседлой жизни. Десять лет назад в Мурманске не было женщин. Теперь женщин почти 50 проц. Бабы расправляются со своими пьяницами куда удачнее милиционеров. Они умеют извлечь их из общей кучи, волоча домой с позором и страшным шумом, парализующим у мужчин способность сопротивляться. Таким образом, часть заработка минует желрыбовские карманы. Рабочие постепенно становятся настоящими мурманскими гражданами. Когда пройдет время противоестественных заработков и еще более худших трат, Мурманск перестанет притягивать пропойц. Население города будет расти закономерно, вместе с его естественным ростом. Всем известны богатства Мурманского края. Внимание к ним будет быстро возрастать, так как они лежат вдоль великого пути, и теплый источник, вызвавший их к жизни, неистощим.

Северо-восточная ветвь Атлантического течения омывает полярный берег Кольского полуострова. Течение до сих пор, по привычке, называется «Гольфштремом», хотя даже у берегов Америки это не «Гольфштрем», а Гольфстрем. Ветвь у Кольского берега называется Мурманским течением.

Теплый поток, идущий на севере, остатки тропического зноя, повышают температуру страны, лежащей к югу, до температуры средней России. В Мурманске летом на севере встает солнце, с севера прилетают весной птицы и на север улетают осенью. Птицы летят на север и огибают Норд-Кап, к теплому веянию Гольфстрема. Его струя в полярном Баренцевом море борется с током холодных течений. В зависимости от напряжения ветров, качающих не только ветви деревьев, но и ветви самых могучих океанских рек, в зависимости от плохо еще изученных причин, Мурманское течение то прижимается к нашим берегам, то отходит, температура его то поднимается, то падает. Так как от текучей теплой воды зависит вся жизнь края, то изучение этих колебаний представляет большой интерес.

Профессор Клоге показывает синие, голубые и охровые разрезы полярных течений. Гидрологические работы ведет Мурманская биологическая станция в Александровске.

Александровск—третий «город» на берегу Кольского залива, если вести счет с юга на север. Это также «новый город», но в противоположность Мурманску он выглядит столь же хилым, как первый город залива—древняя Кола. Александровск возник в конце прошлого столетия на берегу прекрасной естественной гавани, годной по глубине для самых больших судов и защищенной высокими скалами от всех ветров. Значение его упало после постройки Мурманского порта. Теперь здесь всего 500-600 жителей. Над зеленой водой у отвесной стосаженной скалы идет узкий мостик, соединяющий противоположные берега пролива. Над мостиком поднимается трибуна. Еще выше в каменную стену вделан деревянный щит и гора называется Ленинской. С трибуны виден каменный прекрасный цирк с круглой бухтой посредине. Несколько парусных ботов и шнек покачиваются на рейде. Между скал серые, как скалы, на травянистом и глиняном фоне избы и многоглавая церковка. Город кажется древним, застывшим, ушедшим в прошлые века.

И такой же призрачной, музейной кажется, несмотря на имя Ленина, красная доска над трибуной. На доске полукругом написан лозунг, изобличающий древний ход мыслей александровских коммунаров:

«Власти рабочих и крестьян не будет конца».

Здесь живут рыбаки, выезжающие на лов в карбасах, елах, шнеках да несколько служащих.

— Нельзя сделать ничего такого... приблизительного,—жалуется начальник порта, меланхолически расточающий свое одиночество.

Но прямо напротив Ленинской горы в зданиях, похожих на деревянное крымское «Ласточкино гнездо», работает современная мысль. Рыбаки вместе с треской вытаскивают сетями и на поддев несчетные «морские чуды». Рыбаки не выбрасывают их, а несут в биостанцию, зная о забавной страсти ученых.

— Вот,—говорит помор, принося живородящую «бельдюгу», которую он именует непечатно,—рыбка-то. Она ценится.

Развитие морских промыслов—ближайшее будущее Мурманского края. Мы до сих пор ввозим норвежскую сельдь, которую иностранные тралящики ловят у наших берегов и которую могли бы вывозить мы. Наше равнодушие к нашим богатствам пропорционально их величине.

— А что, если бы русские пошли промысливать к Финмаркену?—спросил я старого норвежского капитана.—Как отнеслись бы к этому норвежцы?

— О!—ответил он, начиная с «о», как все иностранцы, говорящие по-английски.—Они бы взбесились!

Ход рыбы у Мурманского и Терского берегов зависит от Мурманского течения. Возможность предсказывать отклонения его температуры и его пути повысила бы доходы промыслов. Предсказание основывается на длительном

наблюдении. Гидрологические разрезы производятся Мурманской биостанцией около 20 лет. К сожалению, в таблицах много пробелов. У станции нет своего судна. Единственный моторный бот пришел в ветхость. Гидрологические работы станции зависят от содействия мурманских губернских учреждений. ГПУ дает тральщик, исполком оплачивает команду, Желрыба отпускает провиант. При таком способе работ пробелы неизбежны. Профессор Ключе мечтает о приобретении собственной шхуны.

В комнате было тепло, но профессор кутался в пиджачок. На севере нет лихорадок. Профессор только что вернулся из столицы и привез с собой зародыши инфлуэнцы. За окнами была зеленая вода бухты и серые скалы. В комнате—письменный стол, портреты ученых, бороды которых вызывают уважение. Квартира провинциального врача, где-нибудь в Твери, в Туле, в Томске; но профессор Ключе не расстанется со своим краем света. Он здесь в центре большого дела. Он не мог бы жить ни в Твери, ни в Туле, ни в Томске. Люди русской равнины, увидевшие уголок океана, далекие снежные горы, дыхание большого ветра, не возвращаются на родину.

— Там им показалось бы слишком провинциально.

III.

...Печонкина, прославившегося теперь на весь земной шар, я видел только один раз мельком. Впрочем, прославился он под другой фамилией. Об этом мало кто знает.

Я зашел в Мурманский отдел ГПУ за разрешением фотографировать в порту. Знакомый следователь показал мне Печонкина. Ярче всего запомнилось, что убийца усмехался: стоит, мол, беспокоиться. Он был выше меня на полголовы и весь какой-то рыжеватый. Лицо и руки у него были покрыты крупными веснушками. Под короткими светлыми ресницами светились неподвижные глаза. Чтобы отвести взгляд, он поворачивал рыжую шею. В нем ничего не было, в этом взгляде: он был невинен, как у пса, которого собираются наказывать за удушенного цыпленка.

Печонкин убил свою сожительницу и оскончил ее любовника, конторщика тралювой базы, Беляйкина. Выяснилось, что в день убийства Печонкин вел себя с женщиной ласково. Он позвал ее в лес, они пошли, держа в руках пустые ведра для грибов. Беляйкин жил в самом начале улицы Моряков, у тропы, ведущей в горы. Печонкин зашел за ним по пути. В лесу он связал их и долго мучил. Протокол показаний Беляйкина нельзя передать: это один из тех человеческих документов, которые воспринимаешь лишь теоретически. Против воли, я вижу всю эту людскую пасть и Печонкина в белом халате ласкового хирурга, с невинными глазами. Он вернулся, говорят, действительно очень довольный и спокойный. Его арестовали за веселой попойкой в кабаке «Желрыбы».

— Будете судить?—спросил я.

— Нет, так вероятно расстреляем,—ответил чекист.

На другой день я услышал, что Печонкин сбежал, сбросив с моста конвоира...

IV.

— Ну, так вот... Такие это края...

Мы приехали в Мурманск в конце июля. Поезд пришел ночью. Дула морянка. Холодная сырость, казалось, обладала своим собственным серым светом. Он очень возбуждает этот матовый равномерный свет северного лета. Ляжешь спать, забыв опустить шторы, и в час, когда больше всего ждешь,

что начнет темнеть,—свет начинает усиливаться. В тундре, в ледовитом море, все это привычно; но в городе, понимаешь, в городе—это гораздо хуже. Невидимая мельчайшая дрожь проникает тело... Мне, по крайней мере, было не по себе в те дни.

Мы остановились в гостинице «Мурманск». Сначала «все шло хорошо». Мы платили грабительскому учреждению по семь рублей в сутки за номер и ждали, что вот, через два-три дня, наш трехмачтовый корабль появится в Кольском заливе. Просыпаясь, мы пересчитывали все парусные суда на рейде. Каждый бот, выходявший из-за мыса, поднимал в нас «паруса надежды». Мы галлюцинировали. Потом мы стали телеграфировать.

Мы посылали телеграммы: в Гамбург, капитану Свендсену, нашему инструктору-кореежцу, который должен был привести шхуну; в Берлин—торгпредству СССР; в Новосибирск—Комитету Северного Морского Пути. Морские суда Карской экспедиции вышли из европейских портов и обогнули Норд-Кап. Тогда мы стали получать телеграммы. Капитан Свендсен телеграфировал, что моторы остановились в первый же день после выхода в море. Идя на парусах со скоростью двух узлов, он свернул в ближайшую верфь. Эта история с моторами повторялась четыре раза. Свендсен стоял в Бергене, в Тромсе, в каких-то неведомых норвежских фиордах, которых мы даже не могли найти на русских картах. Не успевал он выйти из гавани, как мы получали радиотелеграмму, в которой неизменно повторялось: «Mostly by sailug т.-е., что шхуна идет, главным образом, на парусах. Так продолжалось полтора месяца. Шхуна пришла в Мурманск вечером 16 сентября.

Это было довольно большое моторно-парусное грузовое судно. В первую ночь мы были так рады, что даже не разглядели его толком. На следующий день мы разглядели: мы нашли на шхуне четыре (честное слово!) удобных самого комнатного устройства, которые перестали бы действовать после первого же мороза; керосиновую переносную печку, в качестве единственного отопления (каюты, за исключением капитанской, были так малы, что в них не поместилось бы даже по самому маленькому камельку); мы нашли две ванны и ни одной колонки для теплой воды; нашли «красный уголок» при кубрике и не нашли лебедки... Да всего не перечислишь,—такая фантастическая чертовщина!.. Главное, оба мотора фирмы Фербенкс требовали капитального ремонта. На пробе в Кольском заливе они дымили так, что на рейде потом целый день стояла нефтяная гарь. Мне кажется, я до сих пор еще не отмылся...

Так выглядела наша шхуна, названная в честь исследователя Я-Мала, профессора Б. Житкова, изучавшего древний путь новгородцев к устьям Оби и Таза, зверобойная шхуна, предназначавшаяся для полярного плавания и полярной зимовки у берегов Сибири. Было ли здесь сознательное вредительство—очень интересный вопрос, по-моему...

Шхуна была построена в Канаде, продана во Францию и приобретена Комитетом, как я говорил, безусловно выгодно: за две с половиной тысячи фунтов. Она должна была быть отремонтирована и приспособлена к условиям полярного плавания во льдах в одном из английских портов. Но как раз в это время европейские лорды произвели азиатский налет на советские учреждения в Лондоне... Виноват, я обмолвился: я оскорбляю азиатов... Шхуна осталась в Дюнкирхене. Ремонт был сдан с торгов французской фирме. Ну, известно, какие французы полярные мореплаватели. Они, несомненно, старались. Они снабдили шхуну всеми удобствами—для прогулки в Средиземное море. Наши советские представители, принимавшие заказ...

Впрочем оставим это. Все понятно. Главное—люди. Ты понимаешь, что произошло? Мы приехали из центра Сибири, из самой сухопутной стра-

ны, в полярный европейский порт, поселились в дорогой гостинице и заявили, что ждем шхуну, на которой снова отправимся в Сибирь. Неделю мы вели деятельную жизнь. Нам верили. Мы спускались в первый этаж «Желрыбы», в «ресторан» за тем, чтобы пообедать, ну, иногда выпить, но весело и в меру. Старик помор, капитан промыслового бота, увидев, что мы жалеем водку и не хотим напоить его до-пьяна, шипел очень укоризненно:

— Чушинники вы, эх, чушинники!

Я, жадный до новых слов, бестактно спросил, что это значит? Помор покраснел, удивился, как это русские люди не понимают русского языка, осведомился, не еврей ли я и, наконец, объяснил, не совсем впрочем точно:

— Чушинники? Ну, как так—чушинники! Ну, скутые...

Северное сияние пересекло наискось небо над Кольским заливом. Бесшумное свечение полыхало недолго, неуверенно; но за ним, мы знали, идут черные ночи, ледяные штормы и звонкие морозы. Морские суда Карской экспедиции, погрузив сибирское сырье, прошли Маточкин Шар и, по дуге большого круга, возвращались к своим гаваням. Карское море лежало перед нами пустынное, как старое кладбище. Но, вероятно от злобы на неудачу, мы все-таки решили выйти в океан, перезимовать в одной из бухт Диксона, раньше других освобождающихся от льда, и наверстать потери в будущий зверобойный сезон. Зимой мы рассчитывали также на песцовый промысел. О том, как экспедиция будет зимовать у 74 градуса северной широты, в наших тропических каютах, как пройдет два огромных полярных моря (с драками парусами и дырявыми моторами)—мы не думали. Мы должны были доказать рентабельность промысла. Но нам повезло: Регистр не выпустил нас в море.

Инспектор составил длиннейшую «дефектную ведомость» и состав экспедиции, забыв про морской поход, занялся новыми сметами и новыми бумажными планами...

Здесь вот и начинается мой рассказ. Предположим, что шхуна оказалась бы в лучшем состоянии. Ее выпустили в море. Рассказ можно начать со случая в роде того, что был у вас на «Севере» в Енисейске. Мне говорил об этом, гораздо раньше тебя, помкапитана парохода «Станислав Коссиор». Ведь это—обыкновенная история. Вот наброски.

V.

...Капитан Светешников беспощадно ругался. Лицо капитана, смуглое и красивое, потемнело, как неровная тень его небритых щек. Он перетнулся через деревянный борт шхуны и травил рутань, как заболевший морской болезнью проглоченную еду. Невысокий, выцветший человек стоял рядом, на молу, и невравстительно оправдывался:

— Да я разве нарочно? Да это все она, сука. Ах, сука!

Капитан Светешников отвернулся.

— Сергей Леонидович!—крикнул он своему помощнику.—Что вы возитесь с этим б...м целый час?

— Сейчас,—спокойно отозвался штурман Козицын, продолжая запись в расчетной книжке кока.

Штурман был молод, высок, белокур. Он легко прыгнул на стенку, сунул человечку его бумаги, два червонца, сказал: «Распишись» и оттого, вероятно, что за время бездельной береговой жизни долго не работали мускулы, повернул его за плечо, подтолкнув в зад. Матросы захохотали. Тогда рассчитанный кок неожиданно повернулся и стал отругиваться с таким мастерством, что команда шхуны с уважением отошла от борта.

Капитан Светешников сдвинул черные блестящие брови.

— Что будем делать?— тихо спросил он, не глядя на Козицина.

Шхуна «Метель», прежде— норвежская шхуна «Квалю», была приобретена за границей и приспособлена для лова белухи (*Delphinapterus leucas* Pallas) в Карском море. Светешников хорошо знал свое дело. Он знал, что валютный эффект за один год работы мог бы достигнуть сотен тысяч. Но белухьего промысла у берегов Сибири еще не существовало. Экспедиция была снаряжена бедно. Надо было доказать выгодность промысла. Надо было взять полный груз сала и кожи, показать на будущий год красноречивые цифры, более звонкие, чем знаменитейшие стихи.

Шхуна «Квалю», купленная по дешовке в Бергене, должна была быть отремонтирована владельцем и сдана в Мурманске. Ремонт, вместо двух недель, растянулся на два месяца. Лучшее время для промысла пропадало. Капитан Светешников хорошо знал, что он не повинен в неудаче. Виноват был трест, бюрократически проводивший «режим экономии». Трест должен был послать его, капитана Светешникова, за границу для приемки судна; но трест поручил судно норвежскому инструктору, капитану Ларсену. Светешников был уверен в Ларсене и все же, против воли, думал о том, что норвежцам вовсе не выгодно поддерживать русский зверобойный промысел в полярных морях. Экономный трест нес убытки. И Светешников хорошо знал, что трест постарается объяснить их несуществующими ошибками капитана Светешникова. Он даже не мог сердиться: до того все это было в порядке вещей. И выход был только один—победить...

Капитан Светешников каждый день поднимался в горы взглянуть на залив—не зареют ли над мурманским фиордом паруса «Метели»? Через полтора месяца ожидания, сквозь яркий дым попоек и дебошей, шхуна стала казаться капитану Светешникову странным и дурным вымыслом. Он ждал ее, как девушку, в любви которой никогда не сомневался, потом он ждал ее, как изменившую жену. Он пил отчаянно и тяжело, разыгрывая веселье, словно хунхуз перед казнью.

— «Лагерь томления»,—так, по Нансену, мог бы он назвать свои номера в гостинице «Мурманск», она же—«отель Жель-Риба», как произносила манерничающая девчонка, его случайная любовница.

А когда он получил телеграмму из Цип-Наволока о том, что шхуна «Метель» вошла в Кольский залив, он выбросил весь свой запас бутылок, собрал гулявшую команду и заставил людей ночью перенести провиант и снаряжение экспедиции в порт. На следующий день капитан Светешников принял судно. Он решил выйти в море, достичь берегов Сибири и встать на зимовку, обеспечив таким образом возможность летнего лова в будущем году. Зимой он рассчитывал заняться песцовым промыслом...

И вот в день выхода оказалось, что проклятый кок заболел венерической болезнью!

Низкие туманы плыли с севера, окутывая зеленые хребты. Мокрый снег падал и таял на подъездных путях, ведущих в Мурманский порт. Из хибарки с крышей из гофрированного железа, начинавшейся от земли, вышел китаец в синей ватной телогрейке, и за ним, согнувшись,—крепкий рыжий парень. В прореху черной ситцевой рубахи розовело голое тело. Холод, казалось, не касался его: так он был налит весь горячей кровью. Парень стоял прямо, неподвижно, китаец кланялся. Он боялся и нетерпеливо вздрагивал.

— Большие моя твоя не держит. Моя шиши-бб-ко ГПУ не хочу.

Парень в ситцевой рубашке постоял еще минуту так же прямо и безмолвно. Потом он медленно повернулся.

— Ну, смотри. Стукнешь хвостом, все-равно тебе каюк...

Китайские хибарки стояли в мокром, вязком песке ничем не огороженные, без улиц и без дворов. Человек пошел к товарным вагонам, напрямик.

— Проиждь, дурак,—равнодушно подумал прохожий.

Дело было привычное.

Человек нырнул под вагон. С другой стороны состава поднимался забор, отделявший территорию порта от города. Человек быстро сдвинул тяжелую доску и пролез в отверстие. Он огляделся. Его никто не заметил. Веснушчатое лицо его чуть посветлело: в порт можно было пройти только с пропуском ГПУ.

Он не торопясь пошел вдоль вагонов. Красивый голландский «купец» стоял у причальной линии. Ритмично рокотали лебедки. Стрелы медленно плыли в воздухе, неся ровные тюки с хлопком. Грузчики, по двое, легко, одной рукой, откатывали груз по роликам прямо в вагоны. С другой стороны стенки стояли два промысловых бота. Он подошел к ним, спросил, не берут ли матросов.

— Проваливай,—ответил вахтенный.

Маленький бледный человек, проходивший мимо, снял с плеча сундучок и остановился.

— Сука паршивая... Ах, сука!—сказал он.

Парень в черной рубашке не сразу решил, кого выругать раньше.

— Ты это о ком?

— Уволили товарищ. На целый год нанялся. Вот видишь с того края шхуна. Уволили.

И кок рассказал длинную историю о тоске, о женщине и о пропавшем жалованьи...

Капитан Светешников одевался в своей каюте, чтобы итти в город, в союз пицеевиков. Он волиовался: в Мурманске не было безработных. Кого соблазнишь итти в полярное плавание, в пустыню?

— На «Метели»!—раздался за бортом густой незнакомый окрик.

Капитан Светешников вышел. Ветер усиливался. «Вот бы сейчас!»—подумал капитан. На палубе стоял крепкий человек в одной рубашке.

— Вы будете товарищ командир?—сразу спросил он.

— Ну?—ответил капитан Светешников.

Бритое корявое лицо ему понравилось: такой, в случае чего, не струсит...

— Я слышал, вам кок требуется?

Капитан Светешников едва выдержал радостный удар сердца.

— Ты кто будешь?

— Я, собственно, с салотопного... но могу и коком.

— С салотопного? И со зверем знаешь, как обращаться?

— Семь лет работаю. Как же! С самого голоду переселился.

— Ну, берись, делай пробный,—решительно сказал капитан Светешников. Он улыбнулся.—Как фамилия?

— Печонкин, Матвей Кириллов.

Пробный обед Печонкина понравился. Работал Печонкин быстро. Этот сильный здоровый человек казался хорошей находкой после прежнего кока.

— Ладно,—похвалил Светешников.—Жалованье: сто. Может быть прибавлю. Только выходим сегодня же.

— А мне хоть сейчас,—ответил Печонкин.

Он вдруг в упор взглянул в глаза капитана.

— Прозодежду дадите?.. Жена у меня стерва. Не хочу к ней итти. А? Капитан Светешников помолчал.. «Подозрительно... конечно, конечно»,—шла мысль...—«А, чорт с ним! Дело важнее!».

— Дам,—сказал он вслух...—Только вот что, понизил он голос,—в случае чего, будет проверка, говори, что ты Стружкин. Так первого кока звали. Понимаешь? Стружкин.

— По гроб жизни...—забормотал Печонкин.

— Дело важнее людей,—сказал капитан Светешников в сторону.— Все в порядке.

Ветер непрерывно рос.

Шхуна «Метель» снялась со швартов в 14 часов 26 сентября. Мотор работал исправно. Шхуна шла в спокойном канале Кольского залива со скоростью около пяти узлов. В кают-компани, похожей больше на будку дежурного сторожа, собрался комсостав шхуны—капитан Ларсен, инструктор, нанятый до конца навигации, штурман Козицын (он же радист экспедиции) и механик Ермил Щепеткин,—странный, жидкий, но знающий человек. Капитан Светешников был на вахте. Лампочка (патрон «сван») ярко освещала каюту. Переборки и подволоки были выкрашены белой масляной краской. Чутунный камелек излучал комнатное тепло. Печонкин принес большую банку аргентинского мяса и свежий хлеб. В центре квадратного стола появилась бутылка с коньяком. Пришел гарпунер Прозоровский, мезенский помор, любитель шахмат. Он поставил доску на угол стола, рядом с Ларсеном.

— All right.

Норвежец не говорил по-русски. Он мог объясняться только с капитаном Светешниковым, говорившим на ломаном английском языке. Шахматы были понятны без языка. Седые головы склонились над полем сражения. Помор и норвежец почему-то походили друг на друга: черты лица у них были различны, но щеки одинаково хорошо выбриты, под колочими усами торчали трубки, и пальцы рук были также изуродованы на тюленьих промыслах. Ларсен проиграл.

— О-о, опять, опять!—закричал он.

Прозоровский совсем по-детски рассмеялся: так было приятно, что законы игры одни и те же и что он обыграл норвежца.

— Это тебе, отец, не тюленья у нас красть,—вслух, без злобы, сказал он.

К началу третьей партии они ощутили первый ясный, плавный подъем и такой же плавный и беззвучный спуск. Партия затянулась. Они едва смогли кончить ее. Фигурки стали падать: океанская волна шла в залив.

Козицын одел шубу и вышел на вахту. Наступала ночь. Пологие волны простирались от берега до берега. Они поднимали шхуну легко, как пену. Только по высоте прибоя у серых скал можно было определить их силу. Ровный, как по лекалу выведенный, мыс темнел впереди. Капитан Светешников долго не уходил с палубы.

— Океан...

Память воскрешала образы многих морей и многих походов. Капитан Светешников выпрямился: здесь, на этом корабле, он был первым, он не зависел... он...

Мысль обрывалась, словно подхваченная ветром. Капитан Светешников определился по маяку и, взяв прямой курс к проливу «Маточкин Шар», передал вахту Козицыну.

Шхуна пошла в полветра. Козицын велел поставить паруса. Ритм тяжелых всплесков у форштевя ускорился. Козицын смотрел вперед, в те-

мень, и вниз на соленые пенящиеся волны, освещенные иллюминаторами... Так всегда, рядом с водой и ветром, вспомнишь об одиночестве.

Он думал: если бы она могла смотреть его глазами...

Утром 2-го октября шхуна «Метель» достигла берегов «Новой Земли». У входа в «Маточкин Шар» встретилось описное судно «Мойва», шедшее в Архангельск. Капитан Светешников узнал, что никаких других судов ни в Карском море, ни в проливе больше не осталось. Надо было торопиться; но дни стояли ясные, дули мягкие ветры южного сектора, бухты вскипали от всплесков белух, уходивших на зиму из Карского моря в Баренцево. Шхуна «Метель» в три дня взяла 52 дельфина. Капитан Светешников был доволен: он оправдал расходы. Из радио-станции «Маточкин Шар» он послал радиogramму и получил в ответ длинное приветствие треста. 9-го октября в 11 часов «Метель» вошла в Карское море. — —

VI.

— Где же продолжение?

— Если бы «продолжение» было, тогда о чем было бы говорить? Рассказ был бы написан.

Мы рассмеялись.

— Все-таки, чем же кончилось?

— Ага! Интересно?

Тимофей повел плечами. Сознаться казалось ему «не солидным», что-ли. Увлечение вымыслом вредит в наши дни. Я продолжал рассказ вслух, — может быть больше для самого себя.

— Что могло случиться с «Метелью» при стечении всех этих обстоятельств?.. Ты знаешь, стоило ветру перемениться, подул норд, — и температура сразу упала до —8-9 С. Появилась шуга. На другой день после выхода из Матшара «Метель» встретила тяжелые льды. Проходя по разным направлениям еще двое суток, капитан Светешников, маневрируя в полыньях, приблизился, все же, к острову Белому. Но неожиданно у мотора лопнул маховик.

Такой-же случай, кстати, был и на шхуне «Профессор Б. Житков». Осмотрев, после поломки, маховик одного из моторов, механик обнаружил много трещин, тщательно зашпаклеванных и закрашенных прочным лаком.

Эту сцену с мотором можно расписать очень здорово. Гремят льды. Горят северные сияния. Мотор останавливается. Бледный, испачканный мазутом механик врывается в кают-компанию. Капитан Ларсен клянется, что он тут не при чем. Печонкин, разжигая команду, «материрует» его из матери в мать... Словом, здесь легко применить все наиболее эффектные приемы современной беллетристики.

Капитан Светешников пробует, разумеется, пройти на парусах; но скоро льды сжало. Барабаны в круглые обводы шхуны, льдины набиваются под корпус. Льды смерзаются. Шхуна захвачена в ледяной плен. Взяв дважды высоту по Полярной звезде, штурман Козицын узнает, что ледяное поле, на котором стоит шхуна, дрейфует к северу.

Козицын составил проект радиogramмы и принес на подпись Светешникову.

— Что? — неожиданно вскипел капитан. — Вы знаете, что произойдет, если послать эту радиogramму?

— ... Но мы обязаны сообщить то, что есть! — также повысил голос штурман.

— Да, да! — перебил Светешников. — Трест пожалел десяти тысяч, чтобы снабдить нас, как следует... Но вы знаете, стоит разгласить, что

мы дрейфуем, как «Святая Анна» и трест немедленно пошлет за нами мощнейший ледокол. Это обойдется в сотню тысяч... Нет, я этого не допущу!..

И капитан Светешников заставил штурмана передать по радио, что шхуна встала на зимовку у западного берега полуострова Я-Мала и что экспедиции не угрожает никакой опасности...

Штурман Козицын рано ушел из кают-компании и заперся в своей каюте. Он лег на койку, покрытую кошмой, и закрыл глаза. Лицо его горело от скрываемого волнения. В каюте было холодно. Капитан Светешников распорядился экономить уголь. Рядом с подушкой штурмана, на деревянной переборке, висела фотография молодой женщины. Лицо ее было матовым и ровным, губы полные и чувственные. Штурман Козицын недавно женился. Он видел ее—веселую, черноволосую, вспыхивающую. Она развелась для него с мужем. Козицын ушел в полярное плавание, уступая ей, чтобы заработать и пожить потом, месяца два, где-нибудь в Сухуме, на берегу Черного моря. Он нанялся только на лето, рассчитывая вернуться с «Карской» или с одним из мелких судов—«Убеко-Сибири».

— «Как было бы хорошо с ней на юге!».

Штурман Козицын знал, что капитан Светешников разошелся с женой. Для него полярная зимовка будет, напротив, хорошей лечебницей. Капитан успокоится, забудет, вернется обновленным, в то время, как он...

Козицын вскочил, поднимая кулаки. Целый год! Нет, она не выдержит. Он ясно увидел, как она «изменит» ему. И он даже не мог ощутить спасительного раздражения: на ее месте он поступил бы так же...

... — А, впрочем, стоит ли вести рассказ в этом духе? Здесь лучше просто вспомнить историю шхуны «Святая Анна».

— Вот, вот,—сказал Тимофей.—Капитан Шимков часто говорил об этом; но я как-то не расспрашивал. Расскажи подробнее!

— Хорошо... Удивительна все-таки история экспедиций. «Как начнется, так и кончится»... После первой неудачи я в экспедиции на шхуне «Профессор Житков» не участвовал. Дальнейшие злоключения несложны. Весной этого года, чтобы наверстать потери, шхуна вышла на тюлений промысел в Белое море. Там она потеряла винт. Винты оказались чугунами. Легкие норвежские боты расхаживали вокруг громоздкого сооружения, выхватывая добычу. Тупоносая грузовая шхуна (вернее, кажется,—шхуна-барк), с плоскими бортами и слабым «ледяным поясом», была мало пригодна для полярного промысла. Норвежцы вежливо и насмешливо сообщали, в поучение «русской научной экспедиции»:

— Мы таких судов не строим...

Все-же, экспедиция взяла порядочный груз «кожи». Ухлопав выручку на новый ремонт осенью, опять очень поздно, шхуна вышла из Архангельска в Карское море. Поход прошел благополучно; но желание во что бы то ни стало отыграться, доканало экспедицию. Чтобы обеспечить возможность в следующем году раньше выйти на белуший промысел, экспедиция встала на зимовку в довольно открытом месте... Ну, ты знаешь, какие там в это время штормы. Шхуну сорвало с якорей. Она затонула,—получив пробоину,—на небольшой глубине...

Я долго вспоминал об этом крушении так, как будто я в нем участвовал.

* * *

Мы бросили якорь.
Моторы работали.
Ветер наваливался, как медведь.
Так же, как в дни Себастьяна Кабота,
Можно воскреснуть и умереть.
Рифы.
Пробоина.
Рыжие скалы.
— Ветры, делайте Вашу игру!
Белые зубы злобно оскалил,
Пенной белухой,
блеснувший бурун.
Лыдины.
Лагуны.
Лежа у лага,
Линию лайды на пеленг беря,
Помню я, помню!
(Черная влага
И малиновая заря).

— Север! Почему меня снова влечет в это арктическое море? Я не знаю. Может быть потому, что там ярче звучит, в сравнении с внешними успехами, сила самых простых вещей: здоровья, ласки, любви... Что тебя влечет на север, Тимофей?

Он повернул ко мне холодные глаза.

— Меня?—переспросил он.—Ты же знаешь: неисследованность.

VII.

В 1912 году, получив, — как говорится в официальных источниках, — одиннадцатимесячный отпуск, лейтенант Брусилов купил в Англии старое, но прочное еще судно «Pandora» и переименовал его в «Св. Анну»... Святые были в ходу у полярных моряков того времени.

Интересно было бы проследить «судьбу» шхуны «Св. Анна». Она была построена в 1867 году и называлась сначала «Newport», затем «Blancathra» и «Pandora II». На «Blancathra» капитан Витгинс ходил в устье Енисея. В каких морях плавала она еще? Может быть вовсе не одна трагедия оставила скрытые следы в ее деревянном теле, прежде чем шхуна пропала без вести в дрейфующих полярных льдах?

Брусилов хотел пройти вдоль берегов Сибири, из Атлантического океана в Тихий, Северным Морским Путем, занимаясь во время плавания охотой за моржами, тюленями, белухами и белыми медведями. Команду он нанял на переход от Александровска до Владивостока. В середине сентября 1912 года «Св. Анна» вошла, через самый южный пролив — Югорский Шар, в Карское море...

Скоро мы откроем пассажирское сообщение Северным Морским Путем для увеселительных прогулок и свадебных путешествий. Страх уступает перед знанием. Достаточно было изучить распределение льдов в Карском море, поставить несколько радиостанций и полярная романтика превратилась в коммерческие будни... Но до сих пор еще среди северных людей встречаются старые диллетанты, которые сеют панику, вспоминая недавние были.

Я открыл том «Записок по гидрографии» за 1914 год.

«Проходив во льдах до начала октября» (по старому стилю) «разными курсами в южной части Карского моря, «Св. Анна» была затерта льдами и прижата к Ямалу на широте $71^{\circ}45'$, где и простояла две недели. 15-го октября SO-вым ветром шхуна вместе со льдом была оторвана от берега и начала дрейфовать в северном направлении. Этот дрейф судна, как мы увидим дальше, продолжался непрерывно до 10-го апреля 1914 года, т.е. в течение 542 суток и, несомненно, продолжается и сейчас».

«Сейчас» этот дрейф едва ли продолжается. «Св. Анна» пропала бесследно. Прижало ли ее к земле и раздавило в ледяной шторм, как пустую скорлупу, или лед, дрейфующий полярный пак, выкинул ее в открытый океан, но уже тогда, когда на шхуне никого не осталось в живых,—кто знает? Полярные льды до сих пор не отдали нам ни одной щелки, которая смогла бы рассказать, где закончился дрейф «Св. Анны»... Или, может быть, она до сих пор невредимо носится все на той же карской льдине, захваченная неизвестным ледяным водоворотом... или, выброшенная в мертвое ледяное поле, остается неподвижной, подобно водорослям в Саргассовом море, окруженном великими атлантическими течениями? Может быть воздушные корабли Аэроарктики еще найдут этот легендарный остров вместе с нетленными мертвецами, замерзшими в нижнем кормовом помещении шхуны...

Из экипажа «Св. Анна» спаслись двое: штурман Альбанов и матрос Кондрат. Покинув в апреле 1914 года «Св. Анну», они добрались по плывучим льдам до Земли Франца Иосифа. На мысе «Флора» они нашли становище и провизию, оставленные Джексонем. Здесь их подобрал корабль экспедиции Седова. Седов, как известно, тоже погиб во время попытки—похожей на самоубийство—достичь полюса. Корабль назывался «Святой мученик Фока»...

Вместе с Альбановым и Кондратом, которые через три месяца после выхода со шхуны добрались до мыса «Флора», ушли еще двенадцать человек из команды. Большинство из них не были ни промышленниками, ни моряками. Трое из них вернулись на «Св. Анну» и разделили ее участь.

Остальные погибли в пути.

Об экспедиции Брусилова осталось два документа: «Выписка из судового журнала лейтенанта Брусилова», доставленная Альбановым, и дневник Альбанова, опубликованный впервые только в 1917 году под заглавием: «На юг к Земле Франца Иосифа!». Это замечательная книга. Вообще Альбанов представляется мне незаурядной личностью. Он хорошо рисовал, дневник его написан местами сильно. Но этот дневник, конечно, был обработан автором уже после возвращения. Все, что Альбанов захотел скрыть, останется навсегда скрытым для нас.

— Погоди!.. Я прочитаю тебе из этого дневника отрывок. Вот. Он помечен 8-ым июля 1914 года...

«... Мы легли на вершине айсберга, в небольшой ямке, друг к другу ногами так, что ноги Кондрата приходились у меня в малице, за моей спиной, а мои ноги в малице Кондрата, за его спиной. Конечно, салоги предварительно мы сняли и были только в одних теплых носках. Тогда оставалось хорошенько подоткнуть под себя полы обоих малиц, чтобы они закрывали одна другую, так сказать, «заделать все щели». После этого мы втягивали головы обратно внутрь малицы и никакой холод уже нам был не страшен. Получается, таким образом нечто вроде «двухспального мешка». Тепло там до духоты и дышать приходится через воротник малицы, около которого и держишь голову. Зимой, в мороз, воротник от дыхания покрывается инеем и леденеет. Таким образом, мы и заснули и безмятежно спали не менее 7 или 8 часов. Пробуждение наше было ужасно. Мы проснулись от

страшного треска, почувствовали, что стремглав летим куда-то вниз, а в следующий момент наш «двухспальный мешок» был полон водой, мы погрузились в воду и, делая отчаянные усилия выбраться из этого предательского мешка, отчаянно отбивались ногами друг от друга. К несчастью, мы уж очень старательно устраивали себе этот мешок и полы одной малицы глубоко заходили внутрь другой; к тому же малицы перед этим были немножко мокры и в течение семи часов, по всей вероятности, обмерзли. Мы очутились в положении кошек, которых бросили в мешке в воду, желая утопить.

Обыкновенно принято говорить, что подобные секунды опасности кажутся целой вечностью. Это совершенно справедливо. Не могу и я сказать, сколько секунд продолжалось наше барахтанье в воде, но мне оно показалось страшно продолжительным. Вместе с мыслями о спасении и гибели в голове промелькнули другие: очень подробно пронесли передо мною различные картины нашего путешествия—гибель Баева, Архиреева, четырех человек пешеходов, Нильсена и Луняева со Шпаковским, и вот последние—мы с Кондратом... После этого можно поставить «точку», если кто-нибудь, когда-нибудь вздумал бы рассказать о нас. Очень хорошо помню, что нечто в этом роде промелькнуло у меня в голове, но сейчас же был и ответ на эту мысль: «А кто же узнает про нашу гибель?». Никто... И, кажется, всего ужаснее было почему-то именно это категорическое «никто не узнает, что мы погибли»... Вот «там» будут считать, что мы живем где-нибудь, а мы не пережили какой-то страшной борьбы и нас уже нет... Сознание возмущалось, протестовало против гибели: «А как-же сон мой... К чему же было то предсказание? Не может этого быть». Пусть мне верят или не верят, но в этот момент мои ноги попали на ноги Кондрата, мы вытолкнули друг друга из мешка, сбросили малицы, а в следующее мгновение уже стояли мокрые на подводной «подошве» айсберга, по грудь в воде. Кругом нас плавали в воде малицы, сапоги, шапки, одеяло, рукавицы и прочие предметы, которые мы спешно ловили и швыряли на льдины. Малицы были так тяжелы от воды, что каждую мы должны были поднимать вдвоем, а одеяло так и не поймали—оно потонуло. Холодный ветер хотя и начал затихать, но все же дул еще основательно. Наши ноги были в одних носках, а так как мы стояли на льду, то ноги почти потеряли чувствительность. Дрожали мы от двух причин: во-первых, от холода, а, во-вторых, от волнения. зуб на зуб не попадал. Еще продолжая стоять в воде, я напрасно ломал голову, что-же теперь нам делать? Ведь мы замерзнем!

Но Провидение само указало, что мы должны были делать в нашем положении. Как бы в ответ на наш вопрос, с вершины льдины полетел в воду наш каяк, который или сдуло ветром, или под которым подломился лед, как подломился он под нами. Не упали каяк, или упали он не так счастливо, т.-е. порвись об острый, раз'еденный водою лед, я думаю, мы пропали бы на этой льдине, плывущей в море. Завернувшись в мокрые малицы, не имея провизии, дрожащие от холода, мы напрасно старались бы согреться, а потом вряд ли у нас хватило бы решимости что-либо предпринять».

Сон, о котором говорит Альбанов, приснился ему в начале похода по плывучим льдам. Он увидел во сне «старичка», который нагадал ему по руке: «Ничего, дойдешь»... Люди склада Альбанова становятся религиозными «между жизнью и смертью». Но и сам он «не плошал», конечно. Роль «Провидения» выдумана, вероятно, потом. Можно ли написать в дневнике, который ведешь в пустыне, на ледяном берегу острова Белль, после такого купанья вдобавок: «Пусть мне верят или не верят», т.-е. явно рассчитывая на читателя? Любопытно так же то, что Альбанов пишет здесь о всех своих

спутниках, не считая Кондрата, как о погибших; но в тот день он не мог знать о гибели береговой партии. Напротив, по словам Альбанова, Кондрат искал пропавших товарищей, отправившись на каяке к мысу Грант, спустя дней девять после этого случая. Когда к мысу Флора пришел «Св. Фока», его командой были предприняты поиски пропавших; но их не нашли. От них не осталось никаких следов...

Журнал Брусилова, напечатанный в «Записках по гидрографии» (том XXXVIII, выпуск 4, 1914 г.), снабжен таким примечанием:

— В редакции «Записок по гидрографии» получено от штурмана Альбанова следующее раз'яснение по поводу слов: «Сегодня отстранен от должности штурман Альбанов» (см. стр. 39): «По выздоровлении лейтенанта Брусилова от его очень тяжелой и продолжительной болезни на судне сложился такой уклад судовой жизни и взаимных отношений всего состава экспедиции, который, по моему мнению, не мог быть терпим ни на одном судне, а в особенности являлся опасным на судне, находящемся в тяжелом полярном плавании. Так как во взгляде на этот вопрос мы разошлись с начальником экспедиции лейтенантом Брусиловым, то я и просил его освободить меня от исполнения обязанностей штурмана, на что лейтенант Брусилов после некоторого размышления и согласился, за это я ему очень благодарен».

В книге «На юг к земле Франца Иосифа» Альбанов говорит о своих отношениях с Брусиловым более подробно.

... «Неудачи с самого начала экспедиции, повальные болезни зимы 1912-13 года, тяжелое настоящее положение и грозное неизвестное будущее с неизбежным голодом впереди — все это, конечно, создавало благоприятную почву для нервного заболевания... С болезненной раздражительностью мы не могли бороться никакими силами, внезапно у обоих появлялась сильная одышка, голос прерывался, спазмы подступали к горлу и мы должны были прекращать наше объяснение, ничего не выяснив, а часто даже позабыв о самой причине, вызвавшей их. Я не могу припомнить ни одного случая, чтобы после сентября 1913 года мы хоть раз поговорили с Георгием Львовичем как следует»...

На «Св. Анне», в экспедиции Брусилова, была женщина, Ерминия Жданко. Она окончила самаритянские курсы и, по словам Брусилова, «согласилась заменить неприбывшего врача». Говорят, она была невестой Брусилова. Альбанов называет ее «нашей барышней». Каюты штурмана и Жданко помещались рядом. Это единственные каюты на «Св. Анне», двери которых выходили в кают-компанию. Помещение начальника экспедиции было изолировано. Отношения Брусилова и Жданко, по дневнику Альбанова, тоже странны: Брусилов то застенчиво просит Жданко «налить ему чаю», то, во время болезни, швыряет в нее «чем попало» и ругается такими словами, какие, по словам Альбанова, «Георгий Львович только слышал, но вряд-ли когда-нибудь употреблял будучи здоровым». Легко представить, что это за ругань, которую моряк «только слышал, но вряд-ли употреблял»...

Все это так, а может быть и не так. Альбанов, пронесший свою жизнь через полярные льды, погиб в Сибири. Между прочим, он плавал здесь на том же самом несчастном «Севере», описном судне № 126, на котором плавали мы.

Альбанов служил на «Севере» во время колчаковщины, в 1919 г.... У «Верховного правителя», как известно, была слабость к бутафории. В степном Омске можно было найти все вывески царского Петрограда, вплоть до морского министерства. Во время отступления колчаковцев,

Альбанов довольно комфортабельно ехал в отдельном вагоне «Гидрографического Управления». Судьба «единой неделимой» его особенно не занимала: впереди была либо служба у иностранцев, либо безболезненный плен и служба в Советской России; в худшем случае — непродолжительная отсидка в концентрационном лагере. Но, помнишь, в Ачинске взорвались несколько вагонов с динамитом. Причина взрыва неизвестна. Вагон гидрографии оказался рядом. От него ничего не осталось. Кто-то говорил мне, что нашли потом обрывок малицы, признак людей, побывавших за полярным кругом.

Что случилось с Александром Кондратом я не знаю. Может быть он и сейчас жив...

— Мне очень запомнились глухие рассказы моряков об этих людях.

Оба они тяжело пили. Альбанов часто терял сознание и бредил. Он все вскрывал головой вот так и кричал, что за ним придет «дух Брусилова» и жизнь оборвется...

Прочитай еще вот этот, последний, отрывок из дневника Альбанова.

... «С самого прибытия на мыс Флору я был болен и мне становилось все хуже. Жар и озноб не покидали меня. Большую часть времени я был в бреду, а иногда были какие-то кошмары. Мне все казалось, что нас на мысе Флора живет трое. Лежа в бреду, я вскакивал и бежал к раскопкам звать Александра. Я знал, что он там работает и никак не мог припомнить, куда отправился «он, третий». Спрашивал Александра, где «он», но кто он и я сам не мог припомнить».

Кондрат, наливаясь, выхватывал нож и вонзал его в воздух. Матросы также мерещились призрак Брусилова. Капитан Дмитриев рассказывал мне, что ему пришлось списать Кондрата на берег, как немняемого...

Север хранит много... Кости одного из двух ушедших спутников Амундсена, найденные Бегичевым в костре. История самого Бегичева. Наконец история «группы Мальмгрена» фашистской экспедиции Нобиле. Вот эта статья была напечатана, когда тебя здесь не было... Ты, ведь, не читал старых газет, вернувшись домой?

Я протянул Тимофею газетную вырезку.

Историю группы Мальмгрена в совершенно новом освещении, убийственном для спутников погибшего шведского ученого, передает специальный корреспондент «Юманите», находящийся на борту «Красина». Рассказ корреспондента составлен на основании дневника монтера «Красина» тов. Лемана и других записей и тщательно проверен и прокорректирован показаниями других сотрудников экспедиции.

Как известно, группа Мальмгрена в составе его и двух итальянских офицеров Цалпи и Мариано отделилась от экспедиции тотчас после аварии «Италии», надеясь добраться до твердой земли.

Впервые группу эту увидел летчик Чухновский 10 июля, при чем, по словам его и его спутников, на льду виднелось три человека, из которых двое стояли, а третий лежал. Но спуститься для их спасения Чухновский тогда не мог, пришлось ограничиться сообщением о находке «Красину», который немедленно двинулся в указанном направлении.

Когда через два дня, 12 июля, к месту нахождения группы подошел «Красин», экипажу представилась следующая картина: на расстоянии около 200 метр. от ледокола, на небольшой льдине, диаметром не более 10 метров (а по другим показаниям и того меньше), виднелись два человека, из которых один стоял, а другой лежал, лишь изредка поднимая голову. Как оказалось потом, льдина состояла из несколько слабо-спаянных кусков; для того,

чтобы они не расходились, один из плывущих на льдине обвязал ее края несколькими оборотами веревкой. Погода была мягкая, лед быстро таял и «Красин» не мог подойти к самой льдине, опасаясь потопить ее; поэтому на лед, со льдины на льдину, были брошены доски, по которым к спасаемым бросались механики Ваганов и Филиппов, врач Средневский, секретарь экспедиции Иванов.

На льдине стоял, протягивая к спасителям дрожащие руки, черный, обросший бородою, грязный—Цаппи. И тут же бросилась в глаза странная вещь: Цаппи был одет очень тепло—на нем было три костюма: его собственный, нижнее белье из фланели и меховая одежда, сверх этого—меховая одежда Мальмирена и его обувь и, наконец, верхняя одежда самого Мариано и его же обувь; всего, таким образом, три пары обуви и сверх того еще мокасины из тюленьей кожи. Напротив, Мариано, лежавший подле небольшого валика из снега, для защиты от ветра, был лишен всякой теплой одежды, на нем была только рубашка и короткие штаны, ноги босые, без всякой обуви на льду.

Увидя своих спасителей, Цаппи бросился на колени и сотворил молитву, затем пополз к Филиппову и, обнимая, целовал его колени. Мариано продолжал лежать и только лихорадочно следил глазами за происходившим. Сначала подобрали Цаппи, бережно провели его по доскам; когда подошли к ледоколу, он крикнул: «Ура «Красину» и, к общему удивлению, резко отстранив поддерживающих его, бросился к веревочной лестнице и с ловкостью обезьяны быстро взобрался на палубу. И здесь он отвергал всякую помощь, как бы брагурия своим молодечеством. Казалось совершенно невероятным, чтобы этот человек не ел ничего в течение 13 дней, как он сам заявлял.

Мариано, наоборот, был совершенно беспомощен. Его пришлось перенести на руках, как ребенка, и он ничего не говорил, а только улыбался. Руки его—совершенно белые, ноги же—иссиния-черные. Его отправили в лазарет, врач говорил, что еще несколько дней на льду—и он безусловно погиб бы.

Для обоих спасенных был установлен больничный режим, различный по их состоянию. Но обоим было заявлено, что они не получают ни кусочка пищи, пока им не прочистят желудка. Мариано кротко подчинился всем процедурам, Цаппи протестовал, злился, требовал есть. Результаты промывки желудка были резко различны. У Цаппи все проходило гладко, кал был почти нормален, без затвердения, тогда как для Мариано, после трех клистиров, стул оказался мучительным и кал твердым, как камень.

Вывод: Мариано голодал, а Цаппи, несомненно, имел возможность есть, когда его товарищ уже давно не ел ничего. По заключению врача, Цаппи оставался без пищи не более 5-6 дней (сам он говорил о 13 днях), Мариано же гораздо дольше. Соответственно этому для Мариано было назначено самое легкое питание, исключительно жидкое. Цаппи же на другой же день стал получать обычный для всех рацион: суп, хлеб, мясо, рис и компот, и все это он пожирал без всяких дурных последствий; но он карпизничал: когда на третий день санитар тов. Шукин принес ему на третье обычный компот (которым довольствуются все, так как ничего другого на «Красине» нет), Цаппи набросился на него с кулаками и на обычное обращение: «Товарищ», закричал, что я-де, тебе не товарищ, а «господин».

Что же касается Мариано, то он был очень слаб, очень тих, и, что характерно, чуждался Цаппи, не хотел его видеть, так как, очевидно, боялся его. Но он не жалуется на Цаппи, и ничего не говорит о том, как могло случиться, что Цаппи был и сыт и одет, тогда как Мариано умирал от хо-

лода и голода. Все это очень странно, но несмотря на все расспросы корреспондента никто из команды не решается открыто высказать свое мнение. И на вопрос, почему молчит Мариано, почему не жалуется он на Цаппи, из полуслов и намеков вырисовывается такое предположение: может быть, потому что они сообщники.

Тем временем положение Мариано становилось опасным: начиналась гангрена и был поставлен вопрос об ампутации ноги. Но этому неожиданно воспротивился Цаппи и ампутация была отложена до совещания с итальянскими врачами.

На основании всего сказанного, чрезвычайно запутанных показаний Цаппи и упорного молчания Мариано, учитывая далее тот факт, что Цаппи был одет в вещи Мальмгрена и Мариано, что последний как-то сказал Цаппи: «Ты можешь меня съесть только после моей смерти, но не ранее», — корреспондент «Юманите» приходит к выводу, что Мальмгрен был убит Цаппи, что Мариано был свидетелем этого убийства, что Цаппи добивался и его гибели, для чего снял с него теплую одежду и, даже уже будучи на борту «Красина», возражал против ампутации, надеясь, что Мариано умрет от гангрены.

Корреспондент добавляет, что, по сообщениям из Рима, где Мариано была сделана ампутация ноги, — у него через 6 недель после этой операции, появились новые признаки гангрены и он на краю смерти.

Быть может, то следствие, которое начато итальянским правительством по делу об аварии «Италии», уже не застанет Мариано в живых и из свидетелей гибели Мальмгрена останется один Цаппи.

— Цаппи я видел в кино. Он каждый раз снимал перед объективом фуражку, как на похоронах, и жалостно улыбался. Все заметили, что его большой нос облушился от мороза.

Я должен сказать, что я никогда не пытался составить своего мнения об этих людях. Я художник. Это просто материал, который накопился у меня в последнее время. Его так увлекательно можно обработать; но материал мрачный. Я боюсь, неопытный читатель составит по нему неверное представление о полярных странствиях. Этого я не хочу. Все зависит от людей, иногда от примера...

Между прочим, рекорд выносливости, рекорд моральной выдержки в полярной пустыне установлен нашими поморами в XVIII веке. В 1743 году поморы Шаронов, Веригин и двое Химковых (кажется братья) промышляли на одном из восточных одиноко-лежащих островов Шпицбергена. «Посуду» их неожиданно отнесло льдом в море. Они остались с запасом провизии на два-три дня, с одним ружьем и 12 патронами к нему, с огнивом, топором и ножом. Они прожили на острове шесть лет и три месяца, пока случайно зашедшее туда судно не освободило их. Из корня дерева, выкинутого на берег острова морскими течениями, они сделали лук, добыв тетиву из сухожилий белого медведя, убитого самодельными пиками. Шесть лет они питались мясом медведей, оленей и песцов. И только один из четверых, Веригин, умер, на шестом году плена, от цынги. Остальные вернулись невредимыми.

— Хорошая тема для детского журнала, — заметил Тимофей. — Почему ты не напишешь? Школьники сейчас главные читатели.

— Да, тема превосходная...

Время сильным—легкий дым,

Рано ль поздно—победим...

Но сначала посмотрим, что случилось с «Метелью». Выдвинь правый ящик. Вот эти листки. Да. Здесь «продолжение», о котором ты спрашивал. Читай.—

VIII.

— Она была соткана из перьев Жар-Птицы. Млечная полоса передвигалась по небу как праздничная арка. Нижний край перьев горел лиловатым, бледно-фиолетовым огнем. Светлый узел в зените начал медленно вращаться, свивая огненные ленты спиралью, подобной космической туманности. Северное сияние охватило все небо. Мир опрокинулся. Казалось, большая шкура белого медведя была брошена с ледяных полей на его звездный пустой пол. Кто-то гладил ее против шерсти и в темноте сыпались электрические искры.

Штурман Козицын один стоял на палубе. Он быстро сунул руку в карман, сгибая и разгибая пальцы. Термометр показывал—52. Тихий воздух был так тяжел, что Козицын несколько раз оглянулся: где он? Вокруг шхуны простирались льды, равномерно освещенные сиянием. Козицын нагнулся к окуляру секстана, лоя сквозь темные провалы полыхающего неба Полярную звезду. Заметив показания, он быстро сошел вниз.

Он перешагнул комингс кают-компании вместе с облаком морозного тумана. Кают-компания была пуста. Керосиновая лампа с привернутым, из экономии, фитилем озаряла ее желтым мутноватым светом. Времена электрического освещения давно прошли. Моторы молчали. На полке буфетного шкапа лежал высушенный ломтик яблока из компота. Козицын взял его и стал жевать, не проглатывая.—Фрукты! Почему он так мало ел их раньше?.. Он опять вспомнил Черноморское побережье. Там мужчины ходят в одних ярких трусиках и парчевых шапочках. Женщины идут купаться голоногие, накиннув на голое коричневое тело короткие прозрачные платья. Неужели есть эта голубая теплая вода, целое море теплой воды, где можно плавать? Он поплывет с ней, рядом...

Он помнил о любимой женщине все время. Он видел ее. Иногда она была с ним ласкова, иногда смеялась над ним. Иногда он ловил себя на том, что придумывает для нее мст.—Будто бы она ему изменила, а другая прекрасная девушка вышла за него замуж. Они пошли «к ней», «с визитом», «как ни в чем ни бывало». И вот, будто бы у ней проснулась ревность, и вот он наслаждается ее мучениями...—Он старался весь день работать, читал, повторял курс Мореходной Астрономии, вел дневник; но «она» всегда была с ним. Он видел ее сквозь другие близкие и напряженные мысли, она же была страшно далеко; и штурман Козицын вдруг начинал ощущать себя пустым, не мужественным, легким. От этого жить не хотелось, и в то же время жизнь возмущалась, что-то дрожало внутри,—попросту болели нервы.

Козицын проглотил яблочную слюну и, не постучав, вошел в каюту командира, встряхиваясь, как будто он только что проснулся. Капитан Светешников сидел у стола за судовым журналом. Он каждый день вносил в него эпические строки.

«5/II. Конопатим корму. Выкололи лед из коридора гребного вала. Вечером недалеко от судна был слышен шум торошения. Сильное сияние».

Козицын молча сел у края стола и принялся за вычисления. Рядом в мягком обитом кожей кресле сидел, дымя пахучим табаком, Ларсен. Он отвел взгляд от пятисотой страницы нескончаемого романа, который предусмотрительно захватил с собой из Норвегии.

— Как дела?—спросил Ларсен по-английски.

Козицын не ответил. Старик, видимо, чувствовал себя не плохо. Каждый месяц он зарабатывал, по договору 700 крон, ничего не делая. Положение судна не вызывало в нем тревоги. Он побывал на севере, во многих передрыгах. Он был доволен непредвиденной зимовкой. Он отдыхал.

— Сколько?—спросил Светешников.

— Семьдесят семь, четыре,—ответил Козицын, кладя карандаш.— Нас отнесло еще на милю к северу.

— Все в порядке,—пробормотал Светешников.

Козицын вдруг ощутил знакомое удушье.

— Вы забываете,—невольно сказал он лающим голосом,—продовольствия у нас было взято ровно на год...

Капитан Светешников повернул к штурману бледное матовое лицо. Он отпустил бороду, черную, как его глаза. Взгляд капитана вдруг залучился насмешкой.

— А вы боитесь?—спросил он почти ласково.

Козицын быстро встал и пошел к двери.

— Как больные? Сергей Леонидович!—крикнул Светешников.

Козицын прошел кают-компанию и, не одеваясь, пробежал по палубе в кубрик. И только здесь подумал, что его толкнул сюда окрик капитана: «как больные»? Козицын потемнел. Кок и гарпунеры играли в карты.

— Здравствуйте товарищ Козицын,—сказал Печонкин.

— Как больные?—повторил Козицын.

— Подохнут наверно.

Козицын оглянулся.

— А вы не беспокойтесь. Они теперь спят, как сурки.

— Какая наша пища,—сказал гарпунер.

— С имя надо на охоту ходить, первое средство против цыгги. А какая с имя охота? Идет, идет да и огрузнет.

Печонкин вдруг встал и подошел к Козицыну.

— Вот, товарищ Козицын,—сказал он,—все моряки знают: нельзя брать на корабль ни баб, ни попов. Вот на «Анне» была баба и они все пропали, кроме одного матроса, который мне говорил. А у нас—поп, и мы тоже пропадем из-за него.

— Какой поп?—крикнул Козицын.

— Как какой? Щелеткин. Механик ваш.

— Ты что, обалдел? Он коммунист.

— Ну так что-же. Здесь его все знают. Служил он попом в «Черной Щели». А в двадцать первом году грусть его взяла: баба там, какая-то. Вот он на паску собрал самоедов, которые крещеные, пошел вокруг церкви и, вместо «Христос Воскресе», запел «Вставай проклятьем заклейменный». Дескать, вы самый несчастный народ. Самоедам, конечно, все равно. За это его из попов выставили и записался он в партию. В Архангельске потом на механика выучился...

Печонкин говорил торопливо. Козицын взглянул в его неподвижный взгляд и отступил.

— А ну вас всех к чорту! На самом деле пропадешь с вами,—сказал он спокойно, точно нашел неизбежное решение алгебраической задачи.

Ночью он долго запаивал в жестянки из-под какао и табака давно написанные письма.

— Тонкая выbleйника дрожала на ветру и ветер пел сладостно и высоко. Ветер пахнул талым снегом, тревожной несбыточной весной. Был июнь. Была солнечная слепящая ночь.

Это было невыносимо: ветер шел с юга, зачит он относил «Метель» к северу. Козицын стоял против капитана Светешникова и выкрикивал, уже не стеснясь команды:

— Вы сумасшедший! Маниак!... Вы знаете, если так будет продолжаться, через две недели наше радио не достанет уже ни одной антенны.

— Очень рад,—издевался капитан.—Тогда я позволю вам распоряжаться в вашем эфире, как угодно.

Юлень высутил голову из близкой поляны и с любопытством стал прислушиваться к шуму. Далеко, между ропаками, шел Ларсен с ружьем за спиной. Капитан Светешников схватил винтовку и сбежал по трапу.

— Маниак,—повторил Козицын.—Чванный маниак!

Он спустился со спардека. Тогда, из разных углов палубы, к нему подошли пять человек команды, оставшиеся на «Метели».

— Что, не соглашается?...—начал механик.

Он дергал бородку, переступал с ноги на ногу и моргал. Глаза его были красны и слезились от ледяного блеска.

— Чорт его знает,—не владея собой, ответил Козицын.—Из-за него никто даже не узнает, где мы пропали!

Старик Прозоровский снял шапку и, покачивая седой головой, заговорил на своем малопонятном поморском языке:

— Да, сивера то пали... Да шалонник в силетнем году, все шалонник. Стрик лета шалонник. Под туром каким капитан, чо-ли... Подзавинтился, а?... Зарочило нас, утонит!

— Товарищ Козицын,—опять заговорил механик.—Если вы уверены, что командир увлекается, вы должны, ради спасения государственного имущества... Вы по-моему обязаны известить общественное мнение...

— Не заведете радио, все одно, силом заставим!—неожиданно крикнул Печонкин.—Двое померли, двое болеют. И нам что-ли помирать? Сколько у нас хлеба осталось? Человечину опять жрать? Будет, Самара, поели, будет... Заводи радио, пусть «Малыгин» сюда идет!

Кок пододвигался к штурману все ближе, расталкивая поморов круглыми плечами, обтянутыми черной фуфайкой. И опять Козицын не выдержал неподвижного взгляда под белыми ресницами.

— Ну, ну!—отступил он.—Что ты мелешь? Без тебя знаю.

Козицын повернулся к Щепеткину.

«Вот, напишу в рапорте», мелькнула мысль—«команда угрожала бунтом»...

— Товарищ механик,—сказал он голосом, каким отдавал приказания,—пустите мотор.

Полынья тянулась миль на десять, шириной она была с порядочную европейскую реку. Два дельфина быстро шли рядом, пересекая ее поверхность по волнообразной кривой. Ларсен ловко разделявал убитого тюленя. Ветер звенел лыдинками, прибитыми водяной рябью к высоким торосам, образовавшим берег полыньи. Иногда крупные ледяные обломки падали, подтаивая, в воду.

Светешников и Ларсен переговаривались на своем английском языке с помощью простых фраз, которые им удавалось построить.

— Жду, когда ветер раздвинет лед. Очень плохо: мой помощник трус. Очень боюсь: команда...— говорил Светешников.

— Да,—спокойно ответил Ларсен.—Скоро надо послать телеграмму. Это правда.

Светешников помолчал.

— Я думаю подождать десять дней,—вдохнул он.

— Десять дней ладно,—согласился норвежец.

Они снова принялись за тюленя.

Когда с «Метели» раздался выхлоп мотора, капитан Светешников вскочил, бросив нож, и побежал к судну, ругаясь про себя и краснея.

Он быстро поднялся на палубу. Козицын, гарпунеры, боцман и кок стояли у люка и молча взглядывали на него, выжидая.

— Кто распорядился пустить мотор?—спросил Светешников, стараясь овладеть собой.

— Общее собрание постановило,—ответил Козицын.—Мы решили сообщить о нашем положении...

— Это так!

— Справедливо!

— Когда сами не желаете... Не такие теперь времена!

— Общее постановление.

Капитан Светешников переждал восклицания и, нарочно тихо, заговорил.

— Товарищи, я лучше вас понимаю, какая опасность угрожает нам. Я все предусмотрел. Вот спросите Сергея Леонидовича, он вам скажет, что дней десять еще можно подождать. Смотрите, как разводит лед...

— Жди!

— Если через десять дней состояние льда не изменится, я сам пошлю радиограмму. Вы понимаете, все думают, что мы зимует в другом месте. Начнутся запросы, паника. Чего доброго, за нами сразу ледокол вышлет. А вы знаете во сколько это обойдется?..

Капитан Светешников замолчал. Он почувствовал, что доводы его бесполезны. Надо было действовать иначе.

— И что он так о чужом кармане болеет,—сказал Печонкин, обращаясь к поморам.—Норвежец его купил, что ли?

Светешников безобразно выругался и шагнул к люку.

— Не больно испугались,—ухмыльнулся Печонкин.

— Товарищ Щепеткин!—крикнул капитан.

— Есть!—робко отозвался механик.

Прозоровский легонько подвинул капитана от люка.

— Ты не очень, сынок. Общее постановление.

Светешников оттолкнул его.

— Приказываю остановить мотор...

— Меня еще никто за грудки не хватал!—крикнул старик, снова отодвигая капитана.—Постановлено, значит...

Тогда с трапа полетел непонятный крик. Ларсен высунулся по пояс из-за борта, держа наготове магазинную винтовку. Веки, подглазницы и надбровные дуги норвежца были густо намазаны черным гримировальным карандашом, предохраняющим от снежной слепоты. Это придавало капитану Ларсену театральный вид.

— На места! На места!—закричал он по-русски, кладя винтовку на борт.

Все смотрели на капитана Ларсена. Его седина и широкие плечи внушали почтительность. Поморы медленно отошли от люка, глядя в лицо норвежца. Вдруг справа грохнуло и этого лица не стало. Козицын, почти парализованный, перегнулся через борт. Ларсен лежал на льдине, вместо головы у него была красная рана, в ней торчал короткий железный гарпун. Козицын отвернулся. Печонкин стоял рядом с тяжелым гарпунным ружьем, потирая левой рукой плечо.

— Ты за это ответишь, мерзавец!—закричал капитан Светешников.

Он вынул револьвер. Боцман схватил капитана сзади. Печонкин отрезал крепкий пеньковый конец и скрутил Светешникову руки.

— Посадите его в трюм!—услышал Козицын свой голос.

Почему он сказал: «Посадите его в трюм», Козицын не мог понять. Его толкнули, вероятно, полузабытые образы из книг и американских кинолент. Козицын отправил длинную радиogramму, прося помощи. Об убийстве Ларсена он не упомянул, решив, что это могло бы вызвать осложнение за границей...

Печонкин придавил лок пустой цистерной. Светешников долго кричал и грозил, но, поняв, что из-за шума мотора его не слышно, успокоился и присел на бочку с нефтью.

— «Дураки»,—подумал он.—«Ну и дураки! Зачем они меня связали?».

Ему вдруг стало весело.—«Пожалуй, все к лучшему. Будет суд и он, капитан Светешников окажется не подсудимым, а потерпевшим. Никакой ответственности. Вот только этот проклятый убийца. Как жаль старика. Иностранец. Поднимется громкое дело».—Смертельно захотелось закурить. Капитан Светешников достал из кармана кителя коробку, положил на бочку и достал зубами папиросу. Прикурить было труднее. Спичка обожгла ему пальцы, он бросил ее и зажег вторую. Теперь он закурил и задул спичку, но в трюме было светло. Огонь бесшумно ласкался к бочкам с нефтью и ворванью. Капитан Светешников стал топтать его, но огонь ускользал и вдруг охватил весь угол, рядом с деревянной переборкой, под кубриком. Светешников закричал. Он знал, что за переборкой хранились патроны, динамитные шашки, две бочки с порохом. По голове капитана Светешникова прошел холодный ветер. Капитан Светешников побежал к трапу, споткнулся и упал лицом. Одежда загорелась. Он вскочил, поднялся к люку и приподнял его изо всех сил. Он увидел дневной свет и быстро переступил на следующую сторону. Он просунул голову в люк. Но вдруг кто-то придавил его голову глухой тяжестью. Голова загудела, закружилась. Алые и оранжевые огни полетели в ней.

— «Печонкин»,—успел подумать Светешников.—«Печонкин...».

Козицын вышел из радио-рубки в кают-компанию. Теперь оставалось только ждать.—«Да, быть может через две недели, придет «Малыгин». А еще через две...—Перед ним неожиданно возникла такая нестерпимая и яркая сцена, что он задрожал, укусил нижнюю губу и сказал громко:

— Нет, об этом я не могу думать!

В каюте капитана Ларсена упал какой-то предмет. Козицын мгновенно вспомнил убийство.

— Кто здесь?—крикнул он.

Из каюты вышел Печонкин. На плечах у него висела шуба Ларсена.

— Ты что тут делаешь?

— А кому все это достанется?

— Ты за это ответишь, мерзавец!—крикнул Козицын.

— Ну...—сказал Печонкин пододвигаясь.—Какие слова...

Козицын смотрел почему-то на веснушчатую руку повара, прикрывшую рукоятку ножа. Козицын тяжело вскинул голову. Палуба под ним вздрогнула. Раздался низкий грохот. Стекло зазвенело. Козицын и Печонкин бросились к двери. Вместо бака и кубрика чернела дыра. Жирный дым поднимался из развороченного трюма.

— Горим,—бросил Печонкин.—Посылай радио...

Он подбежал к буфету, хватая консервы и буханки хлеба.

— Выружай!—крикнул Козицын.

— Будто не знаю...—вырутался кок.

Козицын выстукивал в дыму —SOS—78° 40'—69° 19'—SOS
—SOS—78—40—69—19—SOS—SOS

Подволок над кают-компанией затрещал от удара фокмачты. Козицын кинулся к двери, но сейчас же захлопнул ее. Палуба была в огне. Козицын схватил топор и открыл заколоченную запасную дверь, выходившую на юг. Дым охватил его. Козицын спрыгнул с борта.

Козицын отбежал несколько сажень и только тогда почувствовал, что хромает. На льду, рядом с небольшой темной кучкой привычных вещей, стояли Печонкин и Щепеткин.

— А где остальные?—сказал Козицын.

— В кубрике,—сказал Печонкин.

Механик стоял, сняв шапку. Виски его были влажны. Он топтался на льдине, не отводя глаз от пожара.

Нефть и ворвань переливались, кипя; через пробоины. И в огне ясно был слышен ровный стук мотора. Это живое сердце в горящем трупе казалось чужим и жутким.

— Что вы о людях беспокоитесь, Сергей Леонидович,—пододвинулся Печонкин.—Теперь каждый рот лишний. Запасу, ежели на троих, на неделю не хватит... А все этот поп. Как говорил, так и вышло.

— Сколько у нас ружей и патронов?

— Ружье, вот оно. А патронов, от силы, дюжина.

— Надо попробовать поохотиться...

Козицыну было легче так—говорить обыкновенные фразы.

— Пойдем, пойдем... Что сидеть?—сказал Печонкин.

— Я не могу. Ногу кажется вывихнул.

Печонкин вскинул ружье.

— Ну, ты, буржуй, собирайся!—крикнул он механику.

Щепеткин двинулся, напялил шапку.

— Что вы буржует меня зовете, вам известна моя партийная принадлежность,—суетливо говорил он, застегивая широкий ремень.—Мой отец служил в различных отраслях хозяйственной деятельности, принадлежа к техническому персоналу.

— Ну, все-равно, поп...

Так они и ушли, с этими нелепыми словами, и скоро скрылись за блестящей линией ледяных разломов.

Бизань упала через борт и откатилась в сторону. Деревянный корабль горел жарко, лед вокруг округлялся, таял. Огонь, в белом блеске, был почти невидимым, Козицын смотрел на этот черный огонь и дым, поэтому что так отдыхали глаза. Нога не болела. Козицын снял сапог. У щиколотки набухла опухоль. Сознание было мутно, мысли всплывали медленно, как прилив. Козицын завернулся в шубу Ларсена, оставленную Печонкиным, и лег, повернувшись к огню. — —

— «Посадите его в трюм», — опять сказал чужой голос Козицына. Капитан Светешников ходил в пламени, по спардеку и кричал: «Ваша вахта, Сергей Леонидович, идите на вахту». Козицын поднялся по трапу. Темное море нежно покачивало пароход. — Белый китель и белая фуражка с золотым шитьем... — Светешников протянул ему бумажный кулек. Козицын взял большую кисть крупного винограда «мускат». Козицын стоял на мостике и смотрел вниз на гулявших по палубе нарядных молодых женщин; и женщины смотрели на него и улыбались ему. Он лениво ел сочный пахучий виноград и сплевывал косточки в море. Гардемарины сидели, свесив ноги за борт, и тихонько напевали. Слова песни были так ласкающе знакомы для моряка и в то же время тревожны и грустны:

— «Мы не вернемся, ребята, домой...

Мы не вернемся, ребята, домой...

К чорту гостить заберемся,

А уж домой не вернемся...

Он прыгнул в люк и плавно опустился прямо к топкам. «Пожалуйста», сказал кочегар. Откуда у нас такая громадная печь? Капитан Светешников стоял на оранжевых колосниках и звал его: «Помните, Сергей Леонидович, как мы с вами, в корпусе хоронили Альманах?»... Дневальный сдернул с него одеяло. — —

— Ты что, сдурел?

Рядом, у костра, сидел Печонкин. Шхуна исчезла. На ее месте чернела маленькая полынья. Только бизань валялась на льду. Стенга была изрублена. Печонкин хлебал из котелка.

— А где он? — спросил Козицын, приподнимаясь.

— Что, попа кличите? — отозвался кок. Он не повернул шеи и продолжал, откусывая от большого ломтя хлеба. — Зашли мы далеко по торосам. Медведь попался. Вот, я один патрон стратил. Ну, где его без собак возьмешь? Ушел, что твой заяц. Я бежал, бежал. Потом оглядываюсь, — нет нашего механика. Я туда-сюда, так и вернулся...

Козицын сел.

— Надо бы флаг где-нибудь на ропаке поставить, чтобы видно было.

— Из чего флаг, из портянки что-ли... Вернется — вернется. Не вернется, все-равно кому-нибудь подышать. — Печонкин доел хлеб и перекрестился.

Низкий слой ровных облаков закрывал небо. Медленно падал снег. Ветер заходил к северу, сметая с торосов метельные струйки. Ветер усиливался. Становилось темнее.

Печонкин встал. На нем был полушубок Щелеткина, подпоясанный ремнем, с подвешенными к нему компасом, длинным промысловым ножом и половинкой оселка в кожаном чехле, как носят поморы.

Штурман Козицын глотнул воздух и промолчал. Козицына знобило. Зубы его лязгнули.

— Ну-ка, — сказал Печонкин, — теперь я посплю. Дай мою шубу...

IX.

Тимофей прочитал рукопись и с усмешкой положил ее обратно в ящик письменного стола.

— Теперь так.

Радиограммы Козицына, принятые радиостанциями о-ва Диксона и Матшара, на следующий день становятся известными «всему миру». Выясняется, что Ларсен—давнишний друг знаменитого норвежского путешественника и ученого, скажем—профессора Янсона. Профессор Янсон первый снаряжает спасательную экспедицию. Он вылетает на самолете и пропадает без вести. Сенсация. Газеты кричат. Все государства посылают суда в Полярное море. Мир об'ят спортивной спасательной лихорадкой. Чья возьмет? Наконец, «Комитет спасения», организованный в Москве, посылает свой мощнейший ледокол, с гидропланами и знаменитыми летчиками на борту.

Кинематографически это выйдет так.— —

1. Печонкин на льдине, рядом с трупом Козицына.
2. Ряд судов, всевозможных типов, под флагами многочисленных государств, плывут в море в одном направлении.
3. Карта, на которой отмечена точка, где сидит Печонкин.
4. Ледокол движется во льдах.
5. Рычаги огромных машин в действии.
6. Кочегары бросают уголь в топки.
7. Диаграмма, показывающая, сколько тонн угля жрет ледокол.
8. Стальной нос ледокола прокладывает путь в ледяном поле.
9. Дым валит из труб.
10. Ветер срывает дым и мчит его почти горизонтально.
11. Палуба. Несущие поверхности самолета раскачивает шторм.
12. Льды громоздятся друг на друга.
13. Люди коченеющими руками держат металлические крылья.
14. Самолет в разведке.
15. Ледяной шторм.
16. Вынужденная посадка.
17. Летчики гибнут.
18. Печонкин доедает Козицына.
19. Ледокол движется во льдах, вперед...

Здесь надо вставить, где-нибудь, диаграмму, показывающую сколько миллионов истрачено на спасение Печонкина и сколько превосходно оборудованных шхун, гораздо лучших, чем «Метель», можно было бы во-время послать на промыслы.

И, наконец, апофеоз.—Летчик Чухновский спасает Печонкина. Спасенного ведут под руки. «Ура! Да здравствует Красин», кричит он. Щелкают затворы зеркалок. Печонкин объясняет, что из всего экипажа «Метели» остался он один. Экспедицию можно считать законченной.

— Как ваша фамилия?—спросил командир.

— Стружкин,—ответил Печонкин.

Скоро бородатый портрет «товарища Стружкина» появился во всех газетах и иллюстрированных журналах.

Борода спасла Печонкина. В ГПУ его не узнали.

— Чем кончить этот рассказ? Я думаю так. Ледокол возвращается. Торжественная встреча. Банкет в ресторане «Европейской гостиницы». За Печонкиным ухаживают. Печонкин напивается. Он начинает бредить. И участники экспедиции в страхе отодвигаются от него, боясь вслух повторить возникающие у всех догадки...

X.

— Ну, теперь слово за тобой...

Тимофей встал. Четырнадцатиконечная морская звезда, вывезенная из Александровска, закачалась над лампой, просвечивая темнокрасным огнем.

— Все это очень правдоподобно,—сказал Тимофей, шагая от стола к двери (четыре шага) и обратно...—Даже, я бы сказал, поучительно в том отношении, что надо так снаряжать экспедиции, чтобы потом их не «спасать». Это гораздо дешевле. И, действительно, можно потерять лучших людей с тем, чтобы выручить такого Стружкина-Печонкина... Но тему нельзя развешивать так, чтобы это умаляло их долг и подвиг... Вообще расписывать по моему не стоит. Прежде всего: ты пишешь о неудаче зверобойной морской экспедиции, отправившейся к берегам Сибири. Всем сразу придет на ум крушение «Житкова». А я как раз поднимаю вопрос о необходимости приобретения двух новых судов. Опыт должен быть использован, пока не забыт, у нас же так голова поставлена: если обожглись на чем-нибудь, так больше не полезем. Точно дети (это я о себе самом)... Я хочу сказать также, что вы, писатели, об'елись (как это сказать?) словами. Вы перестали ощущать их силу. Вот, например, в 1926 году, на обратном пути из Енисея, английский пароход «Ульмус» и норвежский «Вага» задержались во льдах. В наших центральных газетах много писали об этом. Кто-то упомянул «дрейф святой Анны». И страховые общества немедленно повысили свои ставки. Мы до сих пор не сем убытки на этом деле. Так нельзя.

— Хорошо,—согласился я.—Расписывать я не буду. Надо давать вещи, которые показывают путь и цель. Я не напишу рассказа. Я напишу другое...